

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О ГРАМОТЕ 1130
ГОДА И НЕСКОЛЬКО СУЖДЕНИЙ О ЯЗЫКОВОЙ
СИТУАЦИИ КИЕВСКОЙ РУСИ

Б.А.Успенскому к пятидесятилетию unbekannterweise

Эти заметки вызваны текстом доклада Б.А. Успенского на IX Международном съезде славистов в Киеве (1983. Там, где будут указываться страницы без дальнейших ссылок, они будут относиться к этой работе). Некоторые связаны с этим трудом Успенского непосредственно, другие только косвенно.

Нище “из моды вышел ныне”. Поэтому я привожу то, что могло бы быть эпиграфом этой статьи, не перед ней, а здесь. Я думаю, что это уместно как введение к последующей статье. Вот эта цитата: “Gefährten sucht der Schaffende, und Miterntende: denn Alles steht bei ihm reif zur Ernte... . Gefährten sucht der Schaffende, und solche, die ihre Sicheln zu wetzen wissen. Vernichter wird man sie heissen und Verächter des Guten und Bösen. Aber die Erntenden sind es und die Feiernden”.

Непосредственным поводом (и толчком) к этим размышлениям я беру только первые две главы работы Успенского, относящиеся к проблематике того, что он называет литературным языком Киевской Руси. Лично я предпочитаю термин стандартный язык, но стоит его употребить, как обнаружится неприменимость некоторых положений Успенского. Поэтому пока я буду придерживаться его термина, по крайней мере в начале статьи, а дальше будет видно. Ключевой проблемой Успенский считает “бесспорно, отношение между церковнославянским и русским языком” (3), настолько решающей, что в тот исторический период “все, что не осознается как церковнославянское, – относится к русскому языковому полюсу” (4) – и, могу ли я прибавить – и наоборот. В такой общей форме, точка зрения не новая, но заостренная, и, вероятно, заслуживающая напоминания.

Дальше это противопоставление обрастает рядом дополнительных и тоже противопоставленных черт. Один язык – изучаемый (5), кодифицированный и воспринимаемый как правильный (7), официально-культурной (9), литературный (33). Это церковнославянский. Русский же характеризуется отсутствием всех этих черт. Из этого я делаю вывод, что в языковой ситуации Киевской Руси, в концепции Успенского, он является немаркированным. Он функционирует, “wie der

Vogel singt". Я, может быть, немного преувеличиваю, но думаю, что в принципе не отхожу от взглядов автора. Недаром он говорит, что русский язык в ту эпоху "так сказать, впитывается с молоком матери" (5), что ему, этому языку, чуждо понятие нормы. Оговаривая, что я несколько изменил бы терминологию ("русский язык" здесь явно двусмысленный термин) и – важнее, – что кое в чем я смягчил бы противопоставление (что, впрочем, в конце второй главы делает и сам автор), я готов условно, для начала нашей дискуссии принять его. Готов я принять и его тезис, что отношение между этими двумя языками было отношением диглоссии, как это уже утверждала Герта Хюттль-Фольтер и другие, отношение, которое отводит каждому языку определенную сферу употребления, куда не допускается другой язык, в силу чего невозможны переводы с одного языка на другой.

Подчеркиваю, принимаю эти положения условно. Ибо цель этой статьи в том и состоит, чтобы посмотреть, в какой мере положения Успенского соответствуют всем фактам интересующей его и нас эпохи, в какой мере они применимы к целости ее в исторически-хронологическом развитии и не сосуществуют ли они с другими принципами и идеями.

Итак, имея в виду возможность поправок и уступок и памятуя о тех поправках и уступках, которые делает автор в конце второй главы его доклада и к которым я еще вернусь, спросим себя, значит ли принятие двух языков в отношениях диглоссии, что, установив такую характеристику языка эпохи, мы дошли до того предела в нашем анализе языковой ситуации Киевской Руси, дальше которого идти не позволяет объем доступной нам информации? Являются ли понятия церковнославянского языка и "русского языка" для той эпохи окончательными и далее неразложимыми? Безусловно, нет.

Церковнославянский, "нормированный" язык (а каждый, кто имел дело с его дошедшими до нас памятниками, знает, как далеки от окончательной нормы были все проявления этого языка) приходил в Киевскую Русь самое меньшее в трех редакциях-изводах, – главным образом в болгарском, но также в македонском, а в какой то мере и в моравском. Это, конечно, известно Успенскому не меньше, чем мне, но он не ставит этой проблемы, не упоминает ее и даже вообще почти не говорит об изводах церковнославянского языка, образовавшихся за пределами Руси. Только раз упомянута эта проблема, но лишь для того, чтобы от нее отойти: "Вопрос о конкретной редакции (изводе) этого языка остается открытым" (11). Между тем это вопрос не пустячный. Если были минимум три извода и если язык, пришедший

в этих изводах, был нормирован, то эта норма должна была быть выработана на Руси. Если даже мы не знаем, кем и где, по крайней мере мы должны знать, в какой форме эта норма была создана. Позднее мы читаем о становлении “русского извода” как синтеза пришедшего церковнославянского и местного. Но в этой формуле первый элемент остается неизвестным и, следовательно, уравнение не может быть должным образом решено.

Но его не так просто решить еще и потому, что мы недостаточно узнаём и ее второй элемент, названный “русским языком”. Мы узнаём, что он не был кодифицирован, что в этом смысле он был языком “естественным”, а не искусственно установленным. Но сам термин “язык”, в единственном числе, имплицитно, что он представлял собой единство. Сохрани, Боже, я не предлагаю заменить единственное число множественным, это было бы для этой эпохи нелепостью. Но как-то надо выйти из неясности. Если он впитывался с молоком матери, может быть химический состав этого молока был не совсем одинаков в северной Ладогe, в южном Переяславе и западном Галиче? А тогда и его синтез с церковнославянским был не одинаков, скажем, в Киеве, в Новгороде и Владимире¹.

Мне не раз приходилось выступать в защиту историзма против тех авторов, которые безжалостно смешивают эпохи и игнорируют их смену. Этот упрек (за одним исключением, о котором ниже) не относится к Успенскому. Но теперь мне доводится защищать не историю, а географию. Лучше всего это сделать на примере, и в качестве такового я возьму грамоту (около) 1130 года. Указание на некоторые черты ее языка позволит бросить взгляд и на проблемы “ненормированности” “русского языка” с несколько иной точки зрения, чем это делает Успенский.

Начну с маленького замечания общего характера. Нет такого текста изучаемого периода, который нельзя было бы локализовать, по крайней мере в общих чертах, независимо от того, церковнославянский ли это текст или нет. Не составляет исключения и грамота 1130 года. Грамота относится к новгородским делам, но можно с уверенностью утверждать, что она была написана в Киеве, в княжеской канцелярии. На основании исторических данных ее отнес к Киеву еще Срезневский (1882, 53). Грамота дана от имени двух князей, Мстислава и его сына Всеволода, а их встреча произошла летом 1030 года в Киеве. Для нас важнее однако то, что на происхождение грамоты из киевской княжеской канцелярии недвусмысленно указывает ее язык, что делается особенно явственным при ее сравнении с грамотой Варлама Хутынского монастыря, написанной в конце того же 12 столетия в Новгороде.

Исаченко (Isačenko 1971, 98) нашел в грамоте 1130 года две кальки с греческого – *сѧ мирѡ състоитъ и кто сѧ изѡштанеть*. (Третью надо категорически отбросить, как убедительно показал Ворт (Worth 1985, 365), так как она основана на неправильном чтении вставки между 4 и 5 строкой – слов обычно читаемых как *вѧно вѡтскоѧ*. Прибавлю, что вставка эта не только позднейшая, но и явно новгородская, т.е. сделанная далеко за пределами Киева и его княжеской канцелярии). Гипотеза Исаченко остроумна, но не может считаться вполне доказанной, пока не установлен, так сказать, автор текста грамоты. Исаченко предполагает, что эти два случая были результатом того, что писавший грамоту мыслил по-гречески и подбирал *ad hoc* соответствующие средства славянского (церковнославянского?) языка. При этом он противоречит сам себе. В одном месте (98) он говорит, что это был “ein Angehöriger”, в другом он приписывает эти предполагаемые кальки с греческого самому великому князю Мстиславу, апеллируя к тому, что его бабушка была княгиня Анна, дочь византийского императора. Однако мало вероятно, чтобы грамоту составлял непосредственно человек из княжеского рода и уже совсем неправдоподобно, чтобы ее писал лично князь. Чтобы принять окончательное решение в этом вопросе, следовало бы установить, не имеем ли мы здесь дело скорее с традиционными формулами дарственных грамот, может быть пришедшими еще из Болгарии. Для этого нам не хватает сохранившихся памятников, но пока это не сделано, предположение Исаченко остается только гипотезой. Тем не менее она интересна уже самой возможностью кальки с греческого, что совершенно исключается для грамоты Варлаама.

На более твердой почве исследователь стоит, устанавливая в грамоте 1130 года лексические церковнославянизмы. Исаченко их насчитал четыре, что для такого короткого (21 строка) текста довольно значительное количество. Правда, все они, так сказать, церковнотерминологического характера, и едва ли имели замены нецерковнославянского характера, за исключением слова *животъ* в значении ‘жизнь’, в церковнославянском характере которого для того времени можно сомневаться. Зато Исаченко не упоминает явный церковнославянизм зачина грамоты, *Сѧ азъ*. Правда, это графаретная формула, но ее не находим в начале новгородской грамоты около 1192 года.

Что более интересно, это присутствие, как кажется, искусственного, так сказать, функционального церковнославянизма, а именно формы *изѡштанеть*. Если даже исходить из формы *изъ*, со вторичным ером (можно не напоминать, что текст писан в эпоху, когда еры еще

сохранялись) и видеть здесь случай ассимиляции ера к последующему *о*, все же такая форма не является нормальной в древнецерковнославянском – не приводит таких форм с префиксом *изо* плюс следующее *о* SJS (756–757), – а в памятниках восточнославянского извода церковнославянского языка древней эпохи, судя по данным Срезневского (1893, 1075) они являются скорее исключением: два примера приведены из новгородской Минеи 1096 года, один из Ипатьевской летописи и наш. Таким образом можно с достаточной уверенностью утверждать, что *изоштанеть* – искусственное новообразование, предназначенное функционировать как церковнославянизм. Это подтверждается и тем, что слово это выступает в той части грамоты, которая выдержана в церковно-религиозном ключе (в противоположность следующей части, начиная с 13 строки, которая переключает текст на ключ административно-деловой). Излишне говорить, что ничего похожего мы не находим в новгородской хутынской грамоте. В ней все изложено в чисто деловом ключе.

Еще важнее отличия грамоты 1130 года в фонетическом строе языка. Здесь самой яркой чертой является последовательное различие палатализованного и непалатализованного *н* (В коротком тексте ни разу не встретилось случая, в котором мы ожидали бы палатализованного *л*). Мы находим, с одной стороны, *кнѣжениѣ*, *данию*, *поуѣнеть*, *игоуѣмене* (вокатив), *изоштанеть*, *дѣлѣни*, *дань* – без обозначения палатализации *н*, а с другой стороны, *донѣлѣ*, *осеньнѣнѣ*, *въ нѣ*. Единственное отступление – форма *оу него*, типичный *ergo omissionis*, не пример смешения двух разновидностей звука *н*. Как мне уже приходилось указывать (Shevelov 1979, 179), различие *н* и *н'*, восходящее к древнецерковнославянскому, но далеко не последовательно выдержанное в дошедших до нас памятниках этого языка, типично для юга восточнославянской территории (примерно, до конца 12 века) и за малыми исключениями чуждо памятникам новгородского и вообще собственно русского происхождения.² Очень вероятно, что здесь отразилась разница в произношении согласных перед гласными переднего ряда. На севере все согласные в этом положении смягчались, поэтому было утрачено основание для различения двух *н*; такое различие однако было вполне мотивировано на юге, если принять, что там, как в современном украинском языке, кроме случаев, восходящих к сочетанию *n+j*, *l+j*, произношение согласных перед гласными переднего ряда было твердым. (Восходит ли это состояние непосредственно к праславянскому или было инновацией, в контексте данной статьи безразлично. Интересующихся

могу отослать к Shevelov (1979, 171 сл.). Также не играет для нас роли, была ли эта фонологическая твердость фонетической “полумягкостью” или нет. Важен сам факт различения). С большей яркостью эта черта проявляется в таких памятниках, как Галицкое евангелие 1144 года. Опять таки не лишне будет сравнение с новгородской хутынской грамотой. Здесь есть не один случай, где с исторической точки зрения можно было бы ожидать смягчения *н* и *л*, однако оно никогда не отмечено в тексте (напр., *пожни*, *нивами*, *въ немь*).³

Менее красноречиво другое явление – выбор между *и* и *ь* перед йотированными гласными. Общее положение здесь, повидимому, таково, что Киев и другие украинские города систематически употребляют в таких случаях *и*, которое неразличимо продолжает церковнославянскую традицию и отражает местное произношение (сохранение в украинском праславянского *ĭ* перед *ј*), тогда как на севере *и* является церковнославянизмом, тогда как местное произношение толкает к написаниям с *ь*. В грамоте 1130 года находим исключительно написания с *и*: *кнажени ѿ*, *данню*, *кнажении*, *братиѣ*, *полюди ѿ*, *польтрети ѿ* *пришьстви ѿ*. Конечно, можно трактовать такие написания как церковнославянизмы, но применение этого правила к слову *полюди ѿ*, типично восточнославянскому, заставляет думать, что это может быть и местной чертой. Надо однако признать, что написания с *и* строго выдержаны и в хутынской грамоте, при чем не только в словах книжного характера (*уєладию*, *феврониѿ*, *диаволъмь*).

До сих пор речь шла здесь о чертах, проявляющихся в киевских памятниках. Можно отметить и такие, которые не появляются в них. Вот один пример. В хутынской грамоте находим цоканье: *цьто* (правда, Маркс 1914, 14 отмечает, что это место в грамоте стерто). Общеизвестно, что таких явлений в киевских памятниках мы не найдем.

Начиная с 1161 года, – дата надписей на кресте Евфросинии Полоцкой, сделанном в Киеве, – различие двух типов “русского” языка становится еще более выразительным. С этого времени в “южных” памятниках появляется так называемый новый ять, который совершенно чужд памятникам “северным”. Новоятевая “революция” в опфографии, конечно, не была революцией в произношении. Появление нового ятя на письме, нет сомнения, подготавливалось идущими в прошлое особенностями произношения.

Мое дополнение (или, если угодно, восполнение) к противопоставлению русского и церковнославянского языков в языковой практике

Киевской Руси, подчеркнутому Успенским, заключается, в первую очередь, в осознании, что эти два понятия для той эпохи – понятия абстрактные, нуждающиеся в заполнении конкретным материалом, что неизбежно приводит к дифференциации в границах обоих понятий. Не было единого церковнославянского языка, не было и единого русского. Если такие понятия существовали, то только в идеале, в приближении, в стремлении, да и даже о таком стремлении мы можем говорить только условно, потому что во многих текстах оно совершенно не проявляется. Думал ли составитель хутынской грамоты о единстве русского языка? Более, чем сомнительно. Можно пойти еще дальше и спросить, обучали ли детей в новгородских школах такому же языку, как в киевских, учили ли их избегать новгородских особенностей.

Я не хочу впасть в противоположную крайность и отрицать всякую нормализацию и всякое стремление к языковому единству, хотя еще должно спросить, было ли это единство “русских” или православных, что практически, после падения Болгарии в 972 и Македонии в 1018 году, конечно, сводилось к тому же, т.е. не выходило за границы Руси, но для историка важно пытаться установить не только события, но по мере возможности и их осознание современниками. Фактом остается однако, что это единство в языке понималось очень широко и допускало очень значительные колебания и отклонения.

И здесь мы подходим к следующей проблеме. Можно полагать, что для образованных современников в сознании или подсознании существовали два типа языковых явлений – те, в которых свобода языкового поведения допускалась, и те, в которых она отрицалась. Здесь намечается следующий шаг в наших исследованиях языковой ситуации Киевской Руси. Если вслед за Успенским мы примем существование двух языков в отношениях диглоссии и если, продвигаясь дальше, мы признаем допустимость варьирования в каждом из них, то естественно на повестку дня ставится вопрос о разрешенных и неразрешенных пределах варьирования. Причем речь идет о пределах варьирования внутри каждого из двух языков, но также и о таких пределах в смешении этих двух языковых единиц. Эта последняя проблема чаще всего ставится на материале летописей, где оно теперь выходит за границы общих пожеланий и частичных наблюдений и принимает характер очень подробных и исчерпывающих исследований по частным проблемам, как например, в исследовании Г. Хюттль-Фольтер о полногласии (Hüttl-Folter 1983) или, отчасти, А. Львова (1975) по лексике.

Но я склонен утверждать – и здесь мое следующее предложение

дополнения к Успенскому, – что проблема смешения выступает в каждом тексте Киевской Руси мало-мальски осязаемого размера. Хорошим примером является опять-таки грамота 1130 года, с ее уже отмеченной выше игрой церковнославянских и местных элементов, а, если верить Исаченко, то и грецизмов. Иначе говоря, два языковые полюса, предложенные Успенским, – это условные или абстрактные полюсы, которые выступают в чистом виде только в лаборатории исследователя, но не в живой практике. Это, ясное дело, давно известно, но если теперь мы говорим о диглоссии с ее ударением на взаимоисключаемости двух языков, то надо это еще раз подчеркнуть. Известно это положение дел и Успенскому. Если в начале своей работы он акцентирует совершенную полюсность двух языков, то в конечной части второй главы он говорит именно об их смешении и выдвигает критерий выбора языка авторами и писцами той эпохи для каждого факта их языкового поведения. Таким критерием он предлагает считать – по крайней мере для того явления, которое он называет “смена языкового кода” (45) – смену “субъективной речевой установки на объективную” (50), как, очевидно, и наоборот.

Здесь уместны несколько соображений. Возможно, что это предложение верно для понимания психологии летописца. Но как может исследователь знать его психологию? Очевидно, только из его текста. И мы оказываемся в порочном круге. Из текста мы выводим психологию, а из психологии мы выводим характер текста. Во-вторых, желательно было бы найти критерий, который охватывал бы не только смену кодов, но и их смешение, так как именно оно собенно характерно для эпохи и проявляется едва ли не в каждом памятнике. А в таких случаях едва ли можно говорить о смене данных двух установок. К примеру, невозможно говорить о такой смене установок в применении к вкраплению церковнославянских элементов в грамоте 1130 года, разве, что мы сделаем подстановку и скажем, что “субъективный” здесь однозначен с “религиозный”. Но не вернемся ли мы тогда к отброшенной теории тематических или эмотивно-тематических или идейно-тематических ключей? И не приходится считать начало грамоты, высокое *Сє азъ* цитатой из болгарских грамот? Дурново (1969, 94), правда, говорил о такой возможности, но только в форме осторожного предположения (“образцом мог быть язык болгарских царских канцелярий”). От болгарских царских канцелярий сохранилось мало документов, но в том, что до нас дошло, нет ни одного с таким зачином, как легко увидеть, взяв собрание Ильинского (1911). Нет его и в сербских грамотах, изданных Миклошичем (Miklosich 1858). Самое обычное в них

начало – Въ имѣ штьца и сына . . . (напр., 29, 1240 г.), очень редко грамота начинается именем правителя (напр., 19), как исключение – с местоимением – ꙗ Стефанъ Урошь (45, 1254 г.), но ни разу с указательным местоимением типа *се*.

От эпохи Киевской Руси до нас не дошло никаких прямых высказываний на тему взаимоотношений местных языковых вариантов с вариантами церковнославянскими. Но думается, что такие высказывания до некоторой степени скрыты за самой практикой смешения тех и других и могут быть из нее извлечены. Если бы мы могли теперь проинтервьюировать, например, составителя грамоты 1130 г., не ответил ли бы он, что переходы от церковнославянских элементов к местным возможны без особых трудностей потому, что это один язык? А если бы он был таким же полиглотом, какими Исаченко считает киевских князей, он мог бы сравнить такое положение с тем, что находим в современном английском языке, где переход от разноязычных по происхождению элементов, германских, французских, латинских не вызывает серьезных проблем, потому что это теперь составные части одного языка.

Признание языковой ситуации Киевской Руси как ситуации одноязычной (с синхронической точки зрения) дает и новый ответ на проблему, поставленную Успенским: почему не было переводов с местного “языка” на церковнославянский и наоборот. Да просто потому, что не делают переводов в пределах одного языка.⁴

Эту мысль я высказал почти двадцать лет тому назад. Я позволю себе напомнить ее, на языке оригинала: “Perhaps the beginning of literary Russian was Church Slavonic simply in that elementary sense that, since writing, reading, and literature came to the Eastern Slavs in their Old Church Slavonic form, every *knižnik* tried to be as Church Slavonic in his language as his education, his ability and the thematic key of the text permitted, but all degrees of attainment from a theoretical 100 per cent of mastery and consistency to 0 per cent were admitted, and the whole scope, if not from 0 per cent to 100 per cent then, at least from, say, 5 per cent to 95 per cent was represented and all was ‘literary’, not in our sense (we are no longer broad-minded enough to accept so much liberty), but in this view of the time. The unity of this language in this case was more ideal than material: it rested on the acceptance of Church Slavonic as the ultimate frontier of perfection” (Shevelov 1968, 204).

Тут читатель скажет, что мы вошли в полное противоречие с началом этих заметок, где я согласился принять тезис Успенского о наличии двух языков и ситуации диглоссии в Киевской Руси. Да и нет. Ситуация, очерченная Успенским, – идеальная ситуация той эпохи.

Выводы, к которым мы теперь пришли, относятся к ситуации фактически. Новое, принесенное Успенским в науку, состоит именно в установлении тех идеальных границ, к которым языковая ситуация стремилась, – но никогда или почти никогда не достигала. А для реалистической оценки эпохи существенно как раз соотношение идеального и действительного. Мы никогда не оценим правильно этой ситуации, если забудем об этом соотношении. Об этом говорит каждый памятник той эпохи, даже такой короткий, как грамота 1130 года.

Но есть еще один аспект в нашем принятии двух, как-будто противоположных точек зрения. Это аспект диахронический. Крещение Руси и признание христианства официальной религией в языковом отношении создало именно ту ситуацию, о которой говорит Успенский. Далее происходило то, что он назвал адаптацией церковнославянского языка (церковнославянских языков). Эта адаптация, которая началась очень рано – мы видим ее в какой-то степени даже в Остромировом Евангелии –, привела к переводу первоначально реальной ситуации в идеальное мерло подлинных фактов жизни. Ведь то, что мы называем Киевской Русью, в нашем контексте не было таким уж скоропреходящим явлением. Оно тянулось минимум от 988 года до 1240 г., а фактически начало становится еще перед 988 годом и завершилось еще столетие после 1240 г. Это почти три столетия, и было бы наивно думать, что ничего за это время не изменилось (хотя очень часто мы проецируем весь период на одну плоскость, что по меньшей мере неосторожно).⁵

На этом кончаются мои замечания и суждения, вызванные интересной и содержательной работой Успенского, которую я тут пытался не опровергнуть, а дополнить. Позволю себе в заключение высказать несколько мыслей о том, как мы видим эпоху Киевской Руси в ее языковой ситуации сегодня. Они не вытекают непосредственно из доклада Успенского и связаны с ним только косвенно.

Материал, которым мы располагаем, чрезвычайно ограничен. Может быть, был прав Виноградов, когда не включил этот период в свои *Очерки по истории русского литературного языка*, книги, в 1934 году по истине революционной. Дошедшие до нас памятники той поры далеко не отражают всех жанров, аспектов и периодов развития литературного языка эпохи. Прямых высказываний современников о языке – один из очень существенных источников нашего знания о языке эпохи – до нас фактически не дошло вовсе. (Успенский сделал максимум возможного, чтобы хоть намеки на такие высказывания из различных текстов извлечь). Мы можем констатировать кое-что из наших наблюдений, но, строго говоря, мы не можем построить все-

объемлющую и адекватную картину языкового развития в те столетия. Или, вернее, мы не можем построить одну картину. Материал таков, что позволяет несколько схем.

И действительно, если мы посмотрим на попытки последних десятилетий построить такую схему, мы увидим, насколько они неединообразны и просто противоречивы. Не говоря о попытках выбросить эту эпоху вообще за борт по ее устарелости и ненадобности, были проделаны опыты найти в ней начало самобытного, далекого от всяких влияний со стороны именно русского развития. Естественно при этом исключался церковнославянский язык; считалось, что он был делом исключительно церковным и для историка русского языка совершенно ненужным. Я не пишу тут истории науки, поэтому не должен называть имен исследователей. Просто как пример сошлюсь на нашумевшие в свое время, а теперь заслуженно забытые *Очерки по истории русского литературного языка старшего периода* С. Обнорского (1946), вынесенные на гребне патриотизма, охватившего страну после победы в 1945 году. Может быть не случайно название книги повторяет название книги Виноградова (На обложке книги Обнорского слова “старшего периода” были опущены). Это вызов тому, что казалось космополитизмом Виноградова, одним из проявлений которого виделся отказ от разбора периода Киевской Руси. Течение это, хотя и не в таких преувеличенных формах, проявлялось и в последующие годы.

До некоторой степени реакцией на такие ‘самобытнические’ концепции явилась другая схема. Одним из ее представителей и, может быть, начинателем можно считать А. Исаченко. В этой схеме в центре внимания оказывались языковые контакты России, а перед тем Руси с другими языками, главным образом языками народов, выступавших передовыми носителями европейской культуры. Для киевского периода таким народом были греки Византии. А поскольку греческие влияния на Русь приходили в первую очередь через церковнославянское посредничество, церковнославянский язык для киевского периода был поставлен во главу угла. Не обходилось при этом и без прямых аналогий то с эпохой Петра I, то с ситуацией образованных классов на рубеже 18 и 19 веков, а греческому языку приписывалась роль, близкая роли французского во времена Екатерины II и Александра I.

В основе своей эта реакция на господствующие настроения предыдущего периода была явлением здоровым. Но всякая реакция легко приходит к преувеличениям и крайностям. Положение о церковнославянском языке как основе позднейшего стандартного русского языка, положение не новое, утверждавшееся с большой силой Шахма-

товым, а теперь уточненное Успенским в его идее адаптации первого к обстоятельствам Киевской Руси – положение не только теоретически устанавливаемое, но опирающееся на бесчисленные факты. Но не стоит его преувеличивать, предполагая, как хотел Дурново (напр., 1933, 47), единство “книжного произношения” для периода Киевской Руси, особенно начала его. Кто мог его установить, когда церковь была в руках греческих митрополита и епископов, которые даже часто не знали местного языка? Да противоречат этому и наблюдаемые факты. Мы видим, как легко распространяются в церковных книгах изменения в произношении живого языка – особенно разительным примером является распространение “нового ятя”, начиная с 1161 года, но убедительны и другие примеры, хотя бы, например, падение еров. Если бы писцы, а с ними, надо думать, и все духовенство подчинялись строгим нормам “книжного произношения”, церковные книги (а не только светские рукописи) не были бы так широко открыты новшествам живого языка.

Преувеличением роли церковнославянского языка является и предположение, что он служил как *lingua franca* в дипломатии, например, в переговорах славян и не-славян с Византией. Это можно утверждать только если считать, что церковнославянский язык однозначен древнеболгарскому, как думали во времена Лескина. Гораздо вероятнее, что в роли *lingua franca* выступал болгарский язык того времени и что из болгар рекрутировалось значительное количество переводчиков и протоколистов. Успенский убедительно показывает, что, по крайней мере вначале, церковнославянский язык на Руси был языком письменным и культовым, но не разговорным.

Что касается греческого языка, то авторитет его, как и византийской культуры, носителем которой он был, для того времени бесспорен. Но одно дело авторитет, а другое знание. Владимир Мономах мог с гордостью заявлять, что “отец мой, дома сѣдя, изумѣяше 5 язык, в том бо честь есть от инѣх земель” (цитирую в упрощенном правописании), в числе которых, несомненно, был и греческий. Одной из предпосылок для этого были браки киевских князей с гречанками. Но уже на периферии киевского двора положение далеко не было блестящим. Как я недавно показал (Shevelov 1986, 546), княжна Евфросиния Полоцкая, заказывая в Киеве драгоценный крест высокой стоимости и – в намерении – высокого престижа, позволила (или даже заказала) часть надписей дать на греческом языке, но, увы, язык этот отнюдь не стоял на высоком уровне. Каждый, кто имел дело с переводами с греческого, сделанными в те времена на Руси, знает, как часто и в скольких из них переводчики не стояли на высоте своего

задания и очень часто извращали текст оригинала безжалостно, а в некоторых переводах эти извращения доходят до того, что текст превращается в совершенную абракадабру, классический пример чего – и общеизвестный – 13 слов Григория Богослова (правда, переведенный, скорее, в Болгарии).

Нельзя не согласиться с Успенским (30), когда он говорит, что сам выбор текстов для перевода показывает, что даже Киев с его двором и лаврой не был *au courant* византийской литературы, которая в своих современных и, прибавлю, наиболее глубоких и утонченных проявлениях была незнакома (или игнорирована?) киевлянам, не говоря уже о других городах и культурных центрах–монастырях. При Ярославе перевели довольно много, в том числе, как указывает Успенский, “произведения, содержание которых никак не может представлять практический интерес для русского читателя” (18). Вероятнее всего, это объясняется не широтой интересов, а отсутствием глубокого знания и ясных критериев для выбора.

И вопрос уровня овладения церковнославянским языком, и вопрос глубины познания греческого языка, и вопрос выбора текстов для перевода, все это упирается в вопрос широты и глубины народного образования. Здесь и ‘самобытники’ и ‘космополиты’ сходятся в своих преувеличениях. Суждения о высоте культуры и об охвате населения образованием чаще основываются не столько на фактах (которых мы знаем очень мало), сколько на том, что англоязычные народы называют *wishful thinking*. Но этот вопрос выходит за границы языкознания, и лучше предоставить слово историкам. Если речь идет о моей оценке эпохи, то я хотел бы здесь напомнить о том, что и Киев и Новгород лежали на великом пути из Варяг в Греки и были только станциями на этом пути. Если в смысле военной, торговой и политической организации это был действительно путь из Варяг в Греки, то в культурном смысле направление было обратным – из Грек в Варяги. Неоднократно на это указывал Стендер-Петерсен, подчеркивая, что “it is no longer the Varangians streaming from the North that demand the greatest attention from scholarship, but the Varangians returning home from Byzantium, and the part they played in the export of culture from Byzantium” (Stender-Petersen 1953, 11). Были ли это возвращающиеся варяги, возвращающиеся восточные славяне, болгары или сами греки, в этом культурном потоке первой остановкой был Киев с его княжеским двором, а за ним шли другие городские центры дальше на север, и так было, хотя и в ослабленной форме, даже после завоевания Константинополя крестоносцами в 1212 году. И все–таки это был путь не из Киева или других центров Руси, а **через** них. Когда мы говорим

об иррадиации византийской культуры и связанных с ней греческого и церковнославянского языков и о положительной роли этой иррадиации, мы постоянно должны помнить, что города Руси (а что уж говорить о селах!) оставались периферией и что византийская культура и ее (на Руси) языки проявлялись здесь в неполном, ослабленном, а нередко и искаженном виде. Это с одной стороны. А с другой – от всего этого живого и интересного процесса в наши руки попали только скудные остатки, на основании которых мы можем восстановить многое, но еще больше не можем восстановить. Конъектуры здесь неизбежны, и они не вредят, пока осознается их конъектурный характер и пока строго отделяется известное от догадок и идеальное от фактически установленного, бывшего. Именно поэтому я предложил здесь не одну всеохватывающую концепцию, а дуализм концепции с выходом в еще другие возможности, отбрасывая только явный отход от тех не очень многочисленных фактов, которые нам известны.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ На географическое неоднобразие этого языка недавно справедливо указывал Зеemann (Seemann 1986, 515). Но в отличие от него я предпочел бы говорить не о диалектах, а о местных вариантах, может быть местных койне разных областей Руси, оставив термин “диалект” для совершенно уже не регулируемых сельских говоров; с тех пор, как существуют города, их язык не совпадает с языком деревни. Во взаимодействии региональных вариантов “русского” языка с церковнославянским деревня могла иметь слово разве что через посредство городских вариантов данной области.

² В этой статье я ограничиваюсь сопоставлением двух жанрово родственных (дарственная грамота) кратких текстов, киевского и новгородского. Мы не располагаем для этого времени подобными текстами из других центров древней Руси. В принципе однако надо полагать, что такое сопоставление с памятниками других городов обнаружило бы различия неодинакового характера, но каждый раз характерные именно для данной области, будь то Галич, или Полоцк, или Псков, или Смоленск, или Суздаль-Владимир.

³ Материал, доставляемый такими короткими текстами, как избранные для этой статьи, конечно, не достаточен для характеристики языка обширных территорий. Но он мог бы быть легко подтвержден анализом смягчения *н* и *л* во многих других памятниках, наиболее ярким из которых, по-видимому, является Галицкое евангелие 1144 г. К анализу палатализации согласных в этом памятнике я надеюсь вернуться в специальной работе. Рамки данной статьи слишком узки для такого предприятия. См. вдумчивые замечания Живова (1984, 257, 284) о Мстиславовом евангелии и др., хотя он не учитывает территориального признака.

⁴ На самом деле проблема более сложна и упирается в определение того, что такое перевод. Возможно такое употребление этого термина, где в него войдут не только произведения целых текстов одного языка средствами другого (как, надо думать, понимает этот термин и Успенский), но и передачи отдельных слов и выражений. Дубровина 57 приводит такие примеры из перевода Синайского Патерика с греческого на церковнославянский, переписанного в XI веке на Руси, без сомнения в Киеве; напр. переводчик сначала сохранил греческое слово *Μεσολοτατινός*, передав его как *месопотамлянинь*; но в том же отрывке, на следующем листе, он дал его перевод *межгор ѣчанинь*. Ср. аналогичные примеры, приведенные Чернышевой 128. Если такие примеры включить в понятие перевода, то можно трактовать как перевод и известное явление в грамоте

1130 года. Начинаясь церковнославянским *се азъ*, относящимся к князю Мстиславу, в дальнейшем грамота переходит к той же формуле уже на “местном” языке: *се ѿа*, относящейся теперь к Всеволоду, сыну Мстислава. При таком понимании мы имеем дело с переводом именно с церковнославянского на “русский”, и такие переводы оказываются вообще возможными.

Замечу кстати, что предложенный Зеemanном (Seemann 1986) принцип “цитатности” как объяснение вкраплений одного языка в текст, выдержанный в основном в другом языке, сам по себе полезный, не может претендовать на универсальность. В частности он не раскрывает всех проявлений взаимодействия двух языков в грамоте 1130 г. (включительно с *се азъ* и *се ѿа*). Впрочем в любых поисках универсального объяснения нашей проблемы полезно помнить об остроумных замечаниях Потебни о ключе, которым можно было бы отпирать все двери.

⁵ В частности не исключена возможность, что за это время развились рядом с церковными скрипториумами (монастырскими), существование которых документально не подтверждено, но едва ли приходится в нем сомневаться (что принимает и Успенский, 38), и светские, по крайней мере при княжеских дворах, хотя бы даже в самой элементарной форме, как отношение ученичества-подражания младших писцов старшим, а это, конечно, означает нормирование местного (“русского”) языка в пределах потребностей администрации.

Вполне возможно, что и Успенский признает развитие от первоначальной резкой оппозиции нормированного церковнославянского языка ненормированному местному, которую он так драматически представил в начале своей работы, в течение последующих столетий. В таком случае мои дополнения и возражения сами собой в значительной части отпадают. Но он нигде не установил, как долго его противопоставления были актуальны, когда начался и когда завершился их распад. Такая формулировка была бы весьма полезна для понимания динамики языкового развития в период Киевской Руси и сильно облегчила бы положение читателя.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Виноградов, В.В.: 1934, *Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв.*, Москва.
- Дубровина, В.Ф.: 1964, ‘Из наблюдений над употреблением грецизмов в переводном тексте русской рукописи XI века’, *Источниковедение и история русского языка*, Москва, 44–58.
- Дурново, Н.Н.: 1933, ‘Славянское правописание X–XII вв.’, *Slavia* 12, 45–82.
- Дурново, Н.Н.: 1969, *Введение в историю русского языка*, Москва.
- Живов, В.: 1984, ‘Правила и произношение в русском церковно-славянском правописании XI–XIII века’, *Russian Linguistics* 8, 251–293.
- Ильинский, Г.: 1911, *Грамоты болгарских царей*, Москва (*Древности. Труды славянской комиссии* 5).
- Львов, А.С.: 1975, *Лексика “Повести временных лет”*, Москва.
- Марк, Н.: 1914, ‘Две старейших русских грамоты из дошедших до нас в подлинниках’, *Древности. Труды Императорского московского археологического общества* XXIV, 1–8.
- Обнорский, С.П.: 1946, *Очерки по истории русского литературного языка старшего периода*, Москва.
- Срезневский, И.И.: 1882, *Древние памятники русского письма и языка (X–XIV веков)*, Санктпетербург.
- Срезневский, И.И.: 1893, *Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам*, Т. I., Санктпетербург.
- Успенский, Б.А.: 1983, *Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка*, Москва (*IX Международный съезд славистов. Доклады*).
- Чернышева, М.И.: 1984, ‘Эквиваленты заимствований и кальки в славяно-русских переводах с греческого языка’, *Вопросы языкознания* 1984/2, 122–129.

- Hüttl-Folter, G.: 1983, *Die trat/torot-Lexeme in den altrussischen Chroniken. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der russischen Literatursprache*, Wien (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte, 420 Band).
- Isačenko, A.V.: 1971, 'Die Gräzismen des Großfürsten', *Zeitschrift für Slavische Philologie* 35, 97–103.
- Miklosich, Fr. (ed.): 1858, *Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae Bosnae Ragusii, Vindobonae*.
- Seemann, K.D.: 1986, 'Diglossie und gemischtsprachige Texte im Kiever Rußland', *Festschrift für Herbert Bräuer zum 65. Geburtstag am 14. April 1986*, Köln–Wien, 515–526.
- Shevelov, G.Y.: 1968, 'On the lexical make-up of the Galician-Volhynian Chronicle', *Studies in Slavic Linguistics and Poetics in Honor of Boris O. Unbeggan*, New York, London, 195–207.
- Shevelov, G.Y.: 1979, *A Historical Phonology of the Ukrainian Language*, Heidelberg.
- Shevelov, G.Y.: 'Язык надписей на кресте Евфросинии Полоцкой и некоторые соображения о языке Руси XII века', *Festschrift für Herbert Bräuer zum 65. Geburtstag am 14. April 1986*, Köln–Wien, 527–549.
- SJS: *Slovník jazyka staroslověnského*, Vol. I. Praha 1959 (Československá Akademie věd).
- Stender-Petersen, A.: 1953 *Varangica*, Aarhus.
- Worth, D.S.: 1985, 'The codification of a nonexistent phrase "и вено вотское" in the St. George gramota', *Studies in Ukrainian Linguistics in honor of George Y. Shevelov*, New York, (*The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.* 15), 359–368.

New York